

Юрий Наумов
Овидион

Последняя книга Европы



Юрий Наумов
Овидион. Последняя
книга Европы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22969481

ISBN 9785448375316

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Мальчик из Сибири однажды вспомнил свою прошлую жизнь, где он был римским поэтом. Близкие звали его Лио, остальным он памятен под именем Овидий. Взрослея в современной России, он не знает, что по его следам идёт старый враг – охотник за секретом, который Лио получил в Риме. Развязка случится на байкальском острове Ольхон. Финал станет неожиданным для всех. Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

Предисловие	5
Часть I. Fortuna Callipyge	7
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Овидион

Последняя книга Европы

Юрий Наумов

© Юрий Наумов, 2018

ISBN 978-5-4483-7531-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Рукопись этой книги была найдена в мае 2009 года в окрестностях города Л'Аквила (Италия), во время восстановительных работ после землетрясения. Учёные Римского университета датировали находку 10-ми годами н. э., но позднее, ознакомившись с содержанием, отреклись от первоначального мнения и спрятали её подальше от посторонних глаз как загадку, которой не суждено найти объяснение. Спустя год книга исчезла из фондов университетской библиотеки. В краже заподозрили известного римского антиквара Массимо Котти, однако следствие не сумело доказать его причастность к похищению.

Вопрос об авторе книги остаётся открытым. В «современном» сегменте книги автор называет свое имя: Леонид Овчаров. Известен только один человек с таким именем, поэт и сценарист. Как сообщили его друзья, в детстве он лишился зрения и через много лет избавился от недуга столь же внезапно, как заболел. В марте 2009 года Овчаров бесследно исчез после авиакатастрофы вместе с тремя участниками съёмочной группы фильма «Sub Urbe». Кроме Овчарова, который является автором сценария к фильму, без вести пропали известный российский политик Вадим Ачируха, голливудский режиссёр Джонни Сайлен (Johnny Sylane) и актриса Арюд Бежант (Harude Bejente). Самолет АН-24, зафрахто-

ванный кинокомпанией Tsar Explorer, перевозил съёмочную группу к месту съёмок очередного эпизода картины в Тибет и потерпел крушение над Байкалом.

Некоторые полагают, что подлинным автором книги (или её мистическим соавтором) является древнеримский поэт Публий Овидий Назон, автор «Науки любви», «Метаморфоз» и других классических поэм. Напомним, в 8 году н. э. Овидий покинул Рим и оказался в черноморском городе Томы. Из его поэм напрашивается вывод, что он был отправлен в ссылку, хотя ни один древний источник не подтверждает слов поэта. Согласно общепринятой версии, Овидий скончался в Томах в 17 году н.э.

Предлагаем полный перевод манускрипта.

Часть I. Fortuna Callipyge

Говоря по правде, никакого предчувствия не было. В то мартовское утро, когда мне исполнилось пять лет, я ждал совсем других подарков. Мои мечты кружились вокруг спортивного велосипеда – молниеносного, сверкающего, в нашем дворе их называли гончими. Но я слишком хорошо знал своих родителей. Мать непременно скажет: «Не время кататься, холод на дворе», отец добавит: «Подожди лета», а потом они найдут причину отказать. Я никому не доверял с пелёнок, всю свою надежду отдав богине. Её звали Фортуна. Ночью она пришла в мой сон и поманила серебристым звоночком.

Ожог радости поднял меня с постели. Утро едва разгоралось, за окном мела метель; мать с отцом крепко спали в порхании снежного пепла. Я вспомнил, что сегодня выходной, значит, рассвет будет долгим. Чтобы убить время, я взял со стола своё священное писание – альбом фотографий, из которого богиня явилась мне, и принялся листать навощённые страницы. Перед глазами пробежали картинки с жёлтыми руинами на старых, ошпаренных солнцем площадях. Я летел на своём гончем мимо этих сглоданных ветром камней, шепча их названия: Форум, Капитолий, Священная дорога...

Меня охватило стремительное чувство узнавания. Оно по-

тащило вниз, в глубину, и от этого стало жутко, как прошлой весной на Байкале, когда я провалился под лёд и меня вытащил старик вчёрной, густо увешанной амулетами хламиде. Вспышка молнии ударила в зрачки, стало темно. Лишь книга не погасла и раскалённые площади страниц – картинкисполыхали в глазах. Из глубины книги дохнул ветер. Он подхватил меня и отнёс в маленький цветущий парк, где ветви апельсиновых деревьев покачивались под слепым дождём у маленькой мраморной беседки; на том конце аллеи блестела крохотная площадь и нежный, куполом, фонтан. Внезапно я услышал название этого места, упругое и вкусное, – Сульмо. А виноградный ветер уносился дальше, он талял в огромном горячем Городе, величайшем из городов. О, богиня! Смогу ли передать его совершенство? Охваченный паникой и красотой, я выкрикнул на языке, который не помнил ещё минуту назад: «Vale tandem! Ecce ego».¹ И в памяти выбило дно и крышку.

Вот так это случилось. У меня оказалась ещё одна, прошлая жизнь.

Бешеный поток воспоминаний уложил меня в постель. Я хотел закрыться от царапавшей стекла выюги и сдавленных рыданий матери – всё это осталось на другой стороне, которой я больше не верил, – чтобы остаться с моим Городом, только с ним. А память убегала всё дальше в глубину, и было в тот мартовский день вовсе не до конфет и подарков,

¹ «Ну, здравствуй! Вот и я» (лат.)

и не до градусника, которым деловитые люди в хрустящей одежде с запахом боли пыталась измерить жар полуденных улиц Велабра², что раскалил меня изнутри.

К счастью, никакого раздвоения личности не случилось: я и тот человек, память которого досталась мне, были одним целым. Это было похоже на воспоминание о прошедшем лете, только звали меня иначе. Память не таила опасности. Разлад начинался, когда я пробовал объяснять своё открытие себе, но так, словно объяснял его другому, как в тот шестой день моего рождения, когда пришлось отвечать на вопросы в больнице и зачем-то одеть на глаза марлевую повязку, наверное, чтобы не огорчать плакавшую мать.

С того дня я жил на два времени, два континента, и возможно, поэтому до сих пор не освоил ни один современный язык более-менее сносно. Тонкости русской речи мне давались нелегко. Лишь героическим усилием отец научил меня ставить двойное отрицание – «никто не пришёл», я не понимал, зачем это нужно. В том языке, который впитался в мой разум, достаточно было сказать «никто пришёл», но сейчас говорили иначе. К десяти годам я полностью вспомнил римскую, столичную латынь, к одиннадцати – греческий, и нырнул в старую классику; все только для того, чтобы не находиться здесь, не участвовать душой. Ссылка продолжается, думалось мне, просто я попал ещё дальше во мглу, и с упоением проникался смыслом давно минувших событий, обыч-

² Велабр – один из центральных районов древнего Рима.

но мелких, неисторических. Чем дальше, тем больше красоты я в них открывал, грустного утешения. Будущего не было, сплошное неоконченное прошлое.

Несколько лет прошли как одна хлопотливая ночь. Не хотелось упускать время, и так проспал две тысячи лет. И всё-таки днём приходилось мириться с так называемой реальностью.

Город, куда занесло меня сонным ветром, назывался Куликовск – столица Центральной Сибири, шахтёрского края. Так получилось, что я почти не уделил внимания этой земле, наверное, оттого что всё понял слишком быстро. Каждая неделя открывалась похоронами сгинувших в забое шахтёров и молодняка, не пережившего дискотечных дионисий. Уважали только превосходящую силу, вместо закона – привычка и страх, лучшим университетом считалась чёрная зона. За любым порочащим намёком следовал нож (был очень популярен удар в живот снизу вверх), за царапину на капоте могли убить, за измену полагалась заточка. На женской половине этого лупанария-лунапарка бурлила подготовка к Чёрному Дню, последнему из самых чёрных. Зимой беспокоились о калориях, в остальное время – о припасах, детей откармливали на убой. В ходе калорийно-семенных мероприятий кто-то рождался, умирал, сходил с ума, выпускал кишки, травился уксусом. Девушки шалели от Луны, женщин разносило после родов, цыгане цыкали фиксами, обманутые мужья садились на двадцать лет, а над всем господствовали

брикеты сала и тёмное, как венозная кровь, сияние судьбы. Даже смерть не разряжала обстановку: похороны превращались в карнавал и драку, раньше времени постаревшее лицо венчало могильный камень, а пышнобёдрые вдовы закусывали куриной ножкой под майонезом и отправлялись добывать себе оргазм. Такими городами, словно зубами дракона, обильно засеян весь круг земель, но в детстве я думал, что проклятие овладело лишь этой великой страной, и только жалел своих родителей, которым день ото дня приходилось, как всем повсеместно, отдавать минойский долг.

В общем, я решил затеряться на восточном краю Великой Степи, ведя нехитрую частную жизнь. Затеряться было легко. Моё нынешнее имя – Леонид – самое обычное для России. Фамилия – Овчаров – несла меня по сочной траве на бесконечных сарматских просторах. Но для моих знакомых она звучала неубедительно. Вот если бы меня звали Волковым, или хотя бы Собакиным, то можно было становиться киллером, политиком или другим уважаемым человеком, но всё же какая ирония! Имя – греческое, фамилия – сарматская, и ни малейшего намёка на Рим. Можете представить, как я завидовал своему деду Максимилиану.

Моя нынешняя семья напоминала ту, прошлую. Как прежде, мои родные исповедовали культ решительного умного человека, его верховным жрецом был отец. Дяди-тёти, многочисленные племянники и двоюродные братья молились на него, будто он управлял бессмертием, а не отделени-

ем сотовой компании. Отец был комиссованным военным – служил в мотострелковом полку, пока однажды под Кандагаром не получил две пули в бок. После перестройки он развернулся во всю мощь своей натуры, закрутив дела с той ледяной старообрядческой строгостью, перед которой меркнет страстная библейская жестокость. Он повелевал, внушая мысль о надежном завтра, и никто не замечал, что он спивается и всё больше напоминает покосившийся телеграфный столб с оборванными проводами. Приняв на грудь воскресные пол-литра, отец любил поговорить о цели в жизни. По его словам выходило, что жить без цели невозможно. Вот, например, он живёт для того, чтобы дать мне хорошее экономическое образование, чтобы я развил семейный бизнес и завещал его своим детям, а те – своим. Глядя на него из глубины своего Рима, я честно пытался поверить, что цель действительно существует. И однажды нашел её.

Это случилось в один из майских дней на кладбище, куда мы пришли навестить плодородные останки нашей родни. Чёрная земля под жирной зеленью и далекое небо, словно ржавая копейка в пустоте. Трупные обозы тянулись за городом со всех сторон. Полустёртые фотографии мужчин с аккуратными стрижками и женщин с густо накрашенными губами проходили мимо в том же порядке, в котором они шли на убой каждый день. Их даже не предали огню и открытому небу – всего лишь закопали. Я видел заброшенныеobelisks, вросшие в кладбищенские заросли как нелепые метал-

лические табуретки, забытые после прощального пикника, и думал, что лишь тотальное невезение могло привести сюда этих воинов тщетности. Неужели рабство не откупило их от смерти? Или они заслужили вечность в этой влажной заплесневелой земле, потому что считали собой то, что сгниёт, если даже побрезгуют черви? И здесь меня пронзил настоящий ужас.

Сделанное тем мартовским утром открытие, о котором я уже говорил, немного разрядило обстановку. Оно означало, что я не умру, и никто не умрет – ни мама, ни папа, и может быть, повезет даже нашему коту, носящему на подгибающихся лапах остатки бывшего аппетита. Когда скончался дед, я сказал матери:

– Не надо плакать, он снова будет молодым.

– Что ты знаешь о смерти... – вздохнула мать.

Я промолчал, вспоминая, как она приходит, смерть, – уверенно и просто, как остановка сердца на периферии сна, и даже стыдно от того, что это произошло с тобой. Но я молчал. Мать ничего не поняла, она решила, что я переутомился. Как я мог объяснить этой женщине, что мир, о котором она поет свои песни, совсем другой, не такой маленький? Детство – только слово, просто чуть-чуть неопытности. Как-то раз я попытался объяснить это своим учителям, но взбесил их настолько, что в тот же день мою мать пригласили к директору на казнь, а я поздравлял себя с тем, что не признался старшим в том глубоком и смутном сомнении, что

вызывают у меня их ругань и похвалы. Школа была каторгой. Нас наказывали просто за то, что мы родились в этой стране, на этой планете, и я сообразил, что со свободой придется расстаться – её требует организованная мстительная сила. С этим чувством я отправлялся в школу каждые календы сентября. Лет пять или шесть я озадачивал преподавателей привязанностью к мёртвым языкам. Все решили, что перед ними целеустремленный юноша, с третьего класса метящий в вуз. Я никуда не метил. Просто не хотелось говорить на одном языке с теми, кого я видел. Никто не верил мне, и я отвечал взаимностью.

В конце концов, надежда осталась только на богов. Среди них самой могущественной была Фортуна. Я вылепил ее фигурку из пластилина и покрыл золотистой оберткой из-под шоколада, у богини был скелет из проволоки, чтобы она могла покровительственно поднимать руку. Её храм находился в ящике с игрушками, над пластиковым Испанским легионом; я доставал Фортуну перед сном, чтобы попросить немного счастливых совпадений. Видимо, под её влиянием я влюбился в идею о том, что мир возник в результате случайного столкновения атомов. Это стало причиной того, что все мои увлечения были вторичны, малозначительны. Философия? Я терпеть не мог философию. Религию в ту пору каждый придумывал себе сам. История тоже не стала колодцем, где целый день высматривают звезды. Точные даты событий не задерживались в памяти, кроме тех, что относились ко

мне лично, зато я навскидку мог показать место, где царица Медея казнила своих сыновей. Остальное – руины, хроники, особенно заметки тех, кого сейчас называют римскими историками, ни в чем не убеждало. История похожа на религию – предмет чистой веры, ведь никто не помнит ни минуты до своего рождения.

«Должна быть очень веская причина, чтобы наделить меня такой странной памятью», – однажды подумалось мне. В тот день я бродил по дому как в тумане, изобретая одну причину за другой, но всё, что придумал, отдавало горячей пластмассой телевизора с его глупыми фильмами и запахом старой бумаги, спрессованной тесным соседством на книжной полке. К обеду я окончательно выдохся. И вдруг вспомнил о девочке, нежной и близкой, её имя было похоже на ветер. Я знал, что только с ней я мог бы совершить свой путь – вперёд, туда, где мерцал едва заметный Свет. Было трудно вспомнить имя сразу, но у нее было ещё одно, похожее на корицу, и вдруг меня осенило: Коринна. Стало смешно. Этажом выше обитала армянская семья – папа стоматолог, мама домохозяйка. Их дочку звали Каринэ: долговязая, горбоносая, некрасивая. Я плюнул на воспоминания и побежал играть в хоккей.

Время от времени вспоминались другие имена, и однажды по весне она пришла – Вейя... Из глубокой тьмы, где все туманы уходили в реки, постепенно явились и другие: Силан,

Гораций, Котта, Меценат, Мессала...³ Твёрдые как мрамор, они возникали повсюду, и среди них было тепло.

*

Моя прошлая жизнь началась ранней весной в самом сердце Италии. Страна была охвачена гражданской войной. Все ждали голода и смерти, и боги доставили меня в чрево матери контрабандой. Возможно, то страшное время изначально испортило мой характер. Всё на свете мешало мне спать, и потому я получил сказки матери, а старшему брату, Марку, досталась мрачная наука отца. Он и вёл себя как отец – я жил под его защитой, а сам не был героем. Только в двадцать пять вернул поневоле старые долги, когда школьный знакомый принялся орать на меня как прежде. Это было на Марсовом поле во время конной прогулки. Его унесли рабы, не посмевшие ввязаться в драку.

Наш огромный дом в Сульмо был похож на фабрику. Не знаю, сколько народу обитало в пенатах. Отец, мать, бабушка, дед, многочисленное семейство моего дяди, потом какие-то родственники, приехавшие погостить, да так и застрявшие среди золотистых колоннад, в глубине крохотных спален и кабинетной прохлады, в стенах, расписанных на тему аргонавтов. Они помогали отцу в делах, а по-моему, всех

³ Представители высшего общества Рима в эпоху императора Цезаря Августа (конец I века до н.э. – начало I века н.э.).

родственников надо было гнать взащей, кроме дяди Альфиния – он был приятелем Тибулла, величайшего из поэтов.

Вставали на заре. Управляющий наматывал на сапоги конюшни, амбары, сараи, дворы, курятник, свинарник, подвалы, кухню, сеновалы, и если кто-то из слуг вёл себя недостаточно деловито, он избивал его палкой или обходился тычком в зубы. После завтрака начиналась уборка, после обеда мыли посуду, после ужина отправлялись в постель. Во время поездок в столицу отец брал Марка с собой, а я оставался с матерью, поглощённой битвой за порядок. Целые дни просиживал в библиотеке, и только весной открывался простор, когда мы перебирались на виллу близ Корфиния, где можно убежать в поля и носиться как бешеный Либер, или скрыться в дальней беседке в саду и читать, и мечтать.

Едва мы встали на ноги, отец научил нас драться, плавать и ездить верхом. Мы были поздними детьми. Его первая семья погибла за десять лет до моего рождения. Военная карьера отца не сложилась. После внезапной гибели деда, не последнего политика в Сульмо, ему пришлось вернуться домой из весёлой Лютении, гарнизоном которой он командовал, и заняться делами семьи. Родитель посвятил себя главному делу нашего рода – поставкам нисейских лошадей для нужд общественной почты. Едва ли не весь год он проводил в столице, у истока золотого ручья. Глава императорской службы гонцов был его личным другом, не считая сенаторов, которые тоже участвовали в этом прибыльном деле. В конце

концов, устав от жизни на два города, отец принял важное решение. Мне исполнилось девять лет, когда наше семейство переехало в Рим. Деловые интересы не были единственной причиной: родитель спешил подарить нам столицу.

Мы жили внизу, в Велабре. В вечном запахе мирры, гвоздик, сыров и свежих простыней, ронявших солнечные капли с высоты шестого этажа, в хаосе крутых жёлтых лестниц и распахнутых окон, перекинутых высоко над головами, здесь каждый был своим, и редкое зачатие проходило без благословений с соседских балконов. В базарные дни мы ходили с отцом на Марсово поле, ведя под уздцы коней в толпе, где тебя швыряли под ноги, если ты оказывался в центре, и стремились размазать по стенам, когда оттирали на край. Велабр едва становился приличным районом. Отец купил две развалюхи, снёс их подчистую и построил новый дом, двухэтажный, с круглой высокой башенкой – в ней жила прислуга, но ещё в детстве я замыслил её захват. Всё было видно из окон башни: медовый пирог Капитолия, окутанный дымом сыроварен Палатин, синевую тентов пылавший Аргилет, лоскутная Субура и волшебный, изумрудный Эсквилин. Всё это стоило того, что наше римское жилище уменьшилось в три раза по сравнению с отеческим – домов крупнее там просто не было, к тому же отца приняли в корпорацию при каком-то храме, и он хотел показать свою скромность, умолчав, конечно, о доме на родине и бескрайней вилле неподалеку от Корфиния.

Пять лет я не выходил за пределы района в одиночку – там ожидали одни неприятности. В первый год мы с братом участвовали в трёх битвах район на район, и стали своими в своём царстве и окончательно чужими в соседних. Нам, «этрускам», полагалось бить чужаков нашего возраста, особенно «коней» из района Цирка, «рогатых» с Бычьего рынка и «глиномесов» из Аргилета – с ними был самый жестокий бой. Нашему вождю проломили голову, за ним отступили другие, а мой братишка вспрыгнул на повозку и завопил ломающимся голосом: «Я здесь умру великолепной смертью, а вы, когда вас спросят, где вы предали своего вождя, не забудьте сказать – под Аргилетом!» Наши продолжили битву, и враг запросил мира, оплатив его горкой монет и кастетов.

За ходом боевых действий внимательно следило местное ворьё. После того как Марк сместил нашего царя, он получил приглашение в один кабак на Бычьем рынке, где собиралась разбойная аристократия. Отцу мы ничего сказали. В кабаке нас приняли с подлым радушием; вору хотели проверить братишку на вшивость. Не успели мы выпить кружку вина за пропахшим потом столом, как подошел громила с отвисшими до колен руками и принялся оскорблять наших родителей. Брат вежливо поинтересовался, присутствуют ли в почтенном собрании старшие родственники этого несчастного. Когда таковые нашлись, Марк сказал, что он здесь без отца и будет несправедливо, если взрослые поддержат этого невоспитанного членососа. Воры знали, что наш родитель

при случае мог выставить сотню бойцов, поэтому вечер прошел спокойно, Марк просто выбил громилу за дверь и там обильно помочился на него. Проблема была исчерпана. Высокая негритянка с губами как две подушки водрузила Марка на стол, задрала его тунику и заметила с упреком толпе. «Вот ядра настоящего римлянина! А вы, вонючие пуны, собирайте свою разруху и валите к Ганнибалу!», после чего надела глотку на его член.

«Надо бежать из этого логова, в нашем Сульмо такой дикости не было, – жаловалась мать, промывая наши раны. – Тут все женщины шлюхи, все мужчины безумные! О, богиня, забери нас отсюда!» Лишь отец был доволен, посмеивался над нами, называл Кастором и Поллуксом. Ему нравились наши стихи, но только в той мере, в которой они развивали адвокатские таланты. А матушка говорила, что поэты пишут о богах, потому что они сами немножко боги; им открыта великая тайна и вечная власть – не принуждать, но очаровывать. «Это твоя судьба, Лио, – говорила она. – Марк возьмет в свои руки наше семейное, почтовое дело, а потом и кресло сенатора займет, но ты другой. Ты рожден для богов, которые никому не служат, а только знай себе забавляются, изобретая миры». Я понимал её: нет никакого смысла в жизни без свободы, когда ты не ты, а быть собой значит просто быть – всяким, любим, и класть на землю толпы, потрясенные не страхом, но любовью.

В десять лет мой брат поступил в школу Аврелия Фуска, лучшую в Городе. Через год за ним последовал и я. Мы оказались в землячестве италиков, большом и не самом презренном. У нас были отличные бойцы, один Марк стоил троих, в драке он терял голову. То же я замечал и за собой, но, в отличие от брата, меня это беспокоило: больше всего я боялся кого-нибудь убить.

Старина Фуск не вмешивался в наши свары, но душой был с нами, провинциалами. Я приклеил к нему кличку Атабул, так называли африканский ветер на юге. Этот жилистый сицилийский еврей был несокрушим, как Тарпейская глыба. Самые бездарные отпрыски фамилий римских презирали нашего учителя: южан в столице считали зверями, или ничтожествами, если они не грабили по ночам; у толпы женская логика. Я отлично понимал, сколько горя хлебнул старик. От моего Сульмо до столицы можно было доскакать верхом за несколько часов, но каждый день я слышал о своей провинциальности. Вплоть до того, как меня стал узнавать каждый пёс на Тибуртинской дороге и консулы пытались вручить свои вирши, до той поры блюстители искусства твердили мне, что я и говорю, и думаю по-деревенски. К нам, «азиатам», «испанцам», «галлам», «италикам», «грекам», Фуск относился нейтрально, но между нами и учителем царила атмосфера заговорщиков. Его слуга, чёрная потная обезья-

на, ломал свою палку о наши спины каждый день, мы постоянно ходили в синяках, но ни в ком не осталось обид, ведь нам предстояла пожизненная бойня, где вся надежда только на себя.

Фуск получил образование в Греции, в новой пифагорейской школе, и ворчливо сочувствовал тем, кого пугала бесконечность. Его режущий тенор застрял в моих ушах: «Жители стран Востока, которые делят Пустоту на двенадцатилетние циклы...» Говорят по чести, Фуск не был нашим первым наставником. Раньше нас учил грек из Тарента, лучистый, светлый, настоящий эллин. Он преподавал грамматику и счёт; в начальную школу мы не ходили. Леоген, так его звали, не был ни рабом, ни гражданином, юридически он вообще не существовал, но отец доверил ему самое дорогое – библиотеку и детей. Леоген разговаривал со мной как с взрослым, и если бы родители знали о наших беседах, то наверняка обвинили бы его в излишней серьёзности. Всё удивляло в этих разговорах, я даже в старости ничего не смог добавить к его словам.

Буквально через пару дней Леоген вычислил мой гороскоп. Сверив его с тайным приговором на моих ладонях, он заметил:

– Так выпало, что один особый знак ведет тебя по жизни. Малодушные глупцы считают его проклятием, потому что он похож на крест и не сулит ничего такого, что помогает всю жизнь проспаться на обоих ушах. Тебя просла-

вят за то, что ты и делать-то не собирался, и эта слава тебя не обрадует. С огромным трудом ты сможешь написать книгу, к которой будешь стремиться всю жизнь, а потом отречешься от нее. Берегись, мой друг: неизданная книга подобна призраку. Она не отпустит своего отца, пока не обретет покой, пока ты не отдашь ее людям... В пятьдесят лет, если не погибнешь от железа, то ослепнешь, и лишь великая любовь принесет тебе счастье. Так закончится твой сон, и там, на другой стороне, ты обретешь то, что искал. Тебе нужно все мужество, Лио, все терпение, на которое только способен дух. Не создавай богов, а если тебе страшно, потому что богов питают все люди, то помни вот о чем. Богам вовсе не безразличны наши страдания и радости, ведь это их кровь. Они питаются нашими чувствами, когда мы отдаем себя игре без остатка; они пожирают нас и в веселье, и в горе, а взамен мы получаем только обман и страх. И что же, таков удел человеческий? Вовсе нет. Родина всякого несчастья – ум, который вечно пытается навести порядок в мире, а родина мира – Хаос. Только там ты найдешь свободу, где невозможны связи между семенами чувств. И твоя истинная награда застанет тебя, когда боги разожмут свои клешни и не будут властны над тобой.

Меня испугал такой совет, потому что внезапно я все понял, и это было так невозможно, что у меня началась икота. И кто получит награду после моей смерти? И зачем тогда стремиться к чему-то?

Леоген закашлялся и прищурившись поглядел в небо. Было душно, собирался дождь.

– В моей комнате лежит меховая накидка, – сказал Леоген. – Принеси, будь любезен.

Странная просьба, но жизнь в Велабре учила быть готовым ко всему. Через минуту я летел со всех ног с плащом в охапке, и только краем глаза оценил, что вокруг все стало иным. Я резко затормозил и упал. Руки скользнули по ирисам и маргариткам, и сразу стало их жаль, а почему, я понял через мгновение, когда по ногам ударил холод. Я увидел, что мы стоим на высоком берегу с полегшей под ледяным ветром тусклой травой. По левую руку возвышался двуглавый белый камень. Внизу катились тяжелые волны. От них веяло неуживчивой мощью, резкой, но не злой, как будто пленённый гигант мечтал вырваться на простор.

– Где мы? – крикнул я, пытаюсь перекрыть голосом ветер.

Леоген, стоявший в пяти шагах, без малейших усилий оказался рядом и набросил мне на плечи плащ.

– Мы очень далеко, друг мой. Но только относительно того места, где только что находились, – ответил он, не повышая голос, и я отчетливо находил каждый звук его речи в шуме ветра. – Теперь нет ничего ближе этого острова, где мы стоим. Не спрашивай, как он называется. Просто твой климат чересчур удобный. В нем так легко спать... Поверь, когда-нибудь ты окажешься здесь, на самом краю – и дальше, за краем.

Тревога внезапно прошла, живая прохлада полилась в легкие, а он продолжил:

– Смотри на эти волны. Они – великие учителя. Смотри, какая в них сила! Как тесно им здесь, в этом великом озере! Оно когда-то было океаном, и снова им станет, и каждая волна мечтает лишь об этом. Живи тихо, как движутся они. Всему своё время. Не стремись на людские вершины – это от глупости, и если будешь ты волне подобен, то получишь то, что многим недоступно, ведь ты живешь сердцем, и так будет всегда. Ты не станешь выдающимся гражданином, не завоеешь новых Галлий, не убьешь тысячи несчастных. Интересами семьи ты тоже не ограничишь себя, а если за что-то зацепишься, тебя освободят. Да, мой мальчик, ведь твой отец и брат очень привязаны к земным делам и верят в могущество ума. Ты не выживешь, если пойдешь по их стопам. Тебе нельзя – нарушится мера, и ты погибнешь.

Ноги стремительно коченели, но любопытство победило.

– А что такое ум? – спросил я.

– Это консул на год, который вечно рвется в императоры. Я называю его по-старинке, а ты можешь дать ему любое название, от этого суть не изменится. Это малая часть бесконечного разума, которая привязана к твоему телу и постоянно ворует у тебя целый мир и всё его блаженство, когда ты считаешь, что ум – это и есть ты. Это заблуждение испокон веков бросает людей в царство Аида... Ты, твоя истинная суть, никогда не имела никакой формы, и ей принадлежит

всё, и она – всему. Ты общаешься с телом посредством того, что я назвал умом. Он часть твоего тела, смертная часть. Когда ум говорит, что нужно одеться, потому что на улице холодно – это его светлое проявление, а когда тебе кажется, что ты лучше других людей, потому что родился в богатой семье и хорошо складываешь звуки, тогда он проявляет своётемное начало, как безумная мать, для которой только ее ребенок достоин жизни. Если ты даешь волю его прихотям, он распухает будто гнойник, и презирает небеса и всё, что идет от сердца, от той великой любви, истоки которой уму неизвестны. Когда это происходит, человек заболевает, и это самая тяжкая болезнь. Он теряет всё, себя настоящего в первую очередь, и уже не найдет ни легкости, ни игры, ни самого разума. Ты умен; так держи ум в его пределах, нельзя впускать его на ростры. Пусть занимается своим делом: следит за твоим состоянием, ведет хозяйство, подсчитывает расходы и доходы, ведь он – всего лишь раб-эконом. Только твой дух, твой бесконечный разум – император и лучший друг, свобода – его плоть, его право. Если дух твой поднимется в полный рост, ум убежит к себе в коморку, ведь там его место; он не жилец в мире свободы.

Мы вновь оказались на вилле. Холод откатился не сразу, и на секунду я замер, пытаюсь нащупать в памяти мгновение, когда картина вокруг изменилась, но не нашел его.

– Значит, ни один человек на самом деле не имеет формы, и мы все – одно целое, вселенная? – прокричал я. – А то, что

заставляет нас враждовать – это обман, глупость и слабость?

– Да, но не нужно кричать об этом с крыш. Вростай в это, будь этим, знание должно быть сильным и крепким.

– Это нужно объяснить людям! Но как я смогу, если не стану знаменитым поэтом или хотя бы сенатором? Никто не будет меня слушать! И как я стану достойным гражданином, если буду держать ум в его коморке? – спросил я, сбрасывая плащ. Леоген поднял его с земли, со стариковской аккуратностью свернул.

– Сократ иногда появлялся на рынке и бродил по рядам. Торговки кричали ему: «Эй, философ! Что ты тут делаешь? У тебя нету ни гроша!» Сократ обычно только пожимал плечами, но однажды ответил: «Я радуюсь: как много есть вещей, в которых я не нуждаюсь». Страдание – это рынок, ум – деньги. Ты понимаешь меня?

Все было ясно. Но уже через десять лет я стыдился признаться, что мой воспитатель был таким простым человеком, хотя объяснить его некоторые фокусы не мог до самой смерти. Как много дал мне этот старец, и как много он забрал... Он был прав, тысячу раз прав. Ещё двадцать лет назад меня из-за пристрастия к книгам считали умным, а я никогда не доверял уму. Все самые тяжкие ошибки я совершил в полной уверенности, что делаю нечто исключительно разумное. Было трудно поверить в своёнедоверие – это значило пойти против всего, что я получил от людей. Против всего, чем они живут, и мои родители не исключение. Даже помыслить

об этом было страшно, но только об этом и стоило мыслить.

*

Леоген рассказал мне сказку, значение которой я понял слишком поздно. Мог ли я знать, что это станет моей судьбой? «Далеко-далеко в море есть Белый остров, счастливый, как вечные камни, – рассказывал он. – Море, где он стоит, плещется в самом сердце умопомрачительной страны, а остров отделен от нее тремя стенами и бездонным проливом. На острове находится дворец. Под ним струится чудесный ручей, который исходит с гор Олимпа и впадает в Лету, реку, дарующую сон без сновидений. Один глоток из той реки полностью залечивает раны и делает вновь молодым, и тысяча лет пройдет для испившего как один обычный год. Не многие знали о том ручье. Среди них был пастух, который хотел стать царем. Он поставил дом на ручье, скрыл его в своем подвале, запутал входы и выходы, и убил всех, кто знал о чудесных водах. Но и этого казалось ему недостаточно. Желая вечности только для себя, он приказал одному мастеру, воздвигшему чертоги, отвести ручей с лица земли, упрятать его подальше в глубину, чтобы никто не мог добраться до него. Мастер выполнил заказ, однако прежде царь наполнил блаженной водой свои амфоры, надежно запечатал их и закопал под своим тронем. Мастер был казнен, а его сын убит при попытке бежать на крыльях волшебства. Затем боги покара-

ли царя – сотрясли его остров, наслали врагов и разбили дворец; теперь над его тронном пасутся козы. А царь отправился в долгое странствие, и познал, что священная влага открыла ему глаза, и решил не возвращаться, и позволил состариться своему телу, отдав его на произвол смерти. Нет такого человека, Лио, который не хотел бы испить из кувшинов царя. И все готов он совершить, любое преступление, чтобы завладеть моим ручьем. И если ты найдешь его, то помни: самое главное в той воде – не бессмертие тела, а настоящее бессмертие – бесконечная свобода».

Я знал: когда-то жизнь спала, как январское озеро, но подул ветер и поднялась волна. Она летела все быстрее, плотность ее нарастала, и я, и каждый из людей был этим потоком, его брызгами. Я принимал форму и проходил огонь и воду, и медные лабиринты, я ползал, плавал и бежал, летал, и разделялся на расы, на различную плоть, на разные «я», и порождал и ставил под топор, и мне рубили голову, и со мной бывало все, что может быть.

Не исключено, что я слишком увлекался тайными греческими учениями, но кроме Леогена об этом рассказывал библиотекарь Силана. Впрочем, в конце концов он сказал: «Брось ты эти пэмандры, каббалы! Все это мусор. Если хочешь солнца, выйди из библиотеки». Я не хотел выходить... Силан тоже. Он считал египетскую мудрость более древней, чем сама Эллада, а Александрию просто обожал. «Этому городу всего триста лет, и все же он гораздо старше Рима, –

писал он. – Все лучшее пришло через Африку – Египет, Карфаген. Ты поймешь это легко, если выберешься из Города. Езжай куда угодно – хоть в самую дыру, к сатирам на рога!». Совет был в общем-то неплох, позже я им воспользовался, но, по правде говоря, меня тошнило от александрийских космогоний ещё больше, чем его ученого слугу. Там Отец Эфир женился на собственной матери и рождал от нее детей, и становилось понятно, отчего в мире людей все так паршиво.

Я принялся за эти космогонии однажды в юности, в ту весну, когда погиб мой брат. Накануне по столице прокатилась эпидемия, на заре похоронный пепел устилал весь двор. Болезнь убила наших соседей, Марк был влюблен в их дочь, и тоска по той голенастой девчонке вдавила братишку в Орк. С утра он ушел на Форум, а через несколько часов его принесли с разбитой головой. В тот день возле курии вспыхнула драка, Марк бился в первом ряду. Убийцу брата отдали под суд, но облегчения никто не испытал. Отца (а больше мать) оскорбило то, что виновный отделался штрафом. Собирая деньги, он провалился в долги, и отец добился его изгнания. Он приходил к нам, этот лопухий белобрысый парень, его знал весь Велабр. Когда-то он воевал с моим братом за личную власть. Теперь он хотел покаяться, может быть искренне, но родитель не пустил его за порог.

Осенью пришлось уйти от Корнелии, моей первой жены. Вместе мы провели три года у нее на Эсквилине. Дом кипел от фиалок, нарциссов, тюльпанов и роз, от красоты было

нечем дышать. Корнелия вставала после полудня, до вечера принимала ванны, пила будоражащие отвары. Целыми днями могла питаться только печеньем, и порой обходилась даже без этой малости, но без опиума – никогда. Я перезнакомился с ее друзьями, почти все они были поэты, по их рекомендации меня пригласил Меценат. Ещё те дни я подружился с Мессалином, в юности он мог часами слушать мои вирши, а своих никому не показывал. Его отец, Мессала Корвин, был отменный знаток искусства, несмотря на то, что полжизни воевал. Он пригласил меня на чтения. Я декламировал «Медео» – слабую поэму, но другой не было, а живые боги, Гораций и Тибулл, просили что-нибудь подольше. Закончив, я стоял перед ними, спящими, пытаюсь сообразить, где тут чёрный выход, и внезапно боги прыснули со смеху и бросили в меня свои венки. Только тут я заметил, насколько они пьяны. Это был успех, и я остался бы в кругу Мессалы, где вино разливали выписанные из Коринфа гетеры с перьями павлина в волосах, и звучали такие шутки, что Август пошел бы зелеными пятнами, услышь он хоть одну. Но Меценат переиграл своего конкурента: преподнес великолепную виллу по ту сторону Садового холма. Отказаться было нельзя.

Корнелия была старше меня на пять лет, искушенная столичная пантера, не то что я, мечтатель и книжник. Я влюбился в нее всем телом в первую же ночь, а во вторую она призналась, что, кроме меня, детей у нее не будет. Мы сме-

ялись и плакали оба... Она сгорала от огня, утолить который было немислимо. С такими женщинами чувствуешь себя блаженным во всех смыслах. Я легко смирился с тем, что я не первый мужчина в ее жизни, но не покидало ощущение, что и не последний – никто, один из череды, и это дико влекло к ней. Я даже проникся элегиями Пропертия, которого по-настоящему будила только душевная боль: «Ты не моя, любовь не знает обладанья, но обладает лишь любовь тобой и мной...». Потом я узнал, в какой школе Корнелия постигала своё искусство – она изменяла мне со всеми массажистами Субуры. На что я надеялся?.. Не то чтобы я презирал ее, просто не люблю лжи, да и отец заболел от позора, почти полностью ослеп. Мы развелись довольно скоро. Потом я женился на Фурии Камилле, и темная страсть привела к ослепительной скуке. Как раз миновали мои десять лет государственного рабства, и я сказал отцу, что бросаю и службу, и жену со всеми ее предками. Родитель вскинулся на дыбы, но мать поддержала меня. Она терпеть не могла невестку и ненавидела политику, отнявшую у нее сына. В сентябре я покинул Италию. Меня сопровождал школьный друг, губастый, глазастый Помпоний Грецин. Плевать он хотел на Капитолий и даже на музу, если она не брила себе ноги.

Мы уплыли навстречу Элладе.

В самом начале пути к нам присоединились две поэтессы из Милета. Своих поэм они, конечно, не помнили, однако общению это не помешало. Десять дней мы пили вино и по-

друг, и жажда не иссякла даже с оплаченным сроком любви, – девушки клялись в верности до гроба. Одна из них в порыве страсти прокусила мне мочку уха и предложила вдеть в него кольцо, что мы и сделали к недоумению моряков, которые сами были увешаны металлом, как танцоры Изиды.

Скучно не было, хотя в Афинах стояла мерзкая погода. Я предался любимому занятию – собирал мифы, не вылезал из библиотек, целые дни проводил в беседах с модными рапсодами. Грецин занялся историей и софистикой, а в свободные часы мы вместе изучали местных гетер. Римлянки не годились им даже в рабыни, каждая разбиралась в философии и поэзии намного лучше наших блюстителей слова. Гетеры меняли на деньги лишь немного своей благосклонности, но чтобы заслужить их ласки и похвалы, приходилось изрядно постараться. Я был готов жениться на каждой из них, но Грецин мечтал о том же, и чтобы не омрачить делом нашу дружбу, мы решили остаться пока холостыми.

С марта по июль мы объехали всю Грецию, Великую и Малую, добрались до Митилен, а затем нас пригласили в гости на Крит. Не знаю, чем я отравился – может быть, молодым вином с печеной форелью, но путешествие вывернуло меня до кровавой блевотины. На полпути сознание покинуло меня. Очнулся в Гортине, в доме друзей. Когда ум и желудок пришли к согласию, мне вспомнился рассказ Леогена о старом дворце и волшебном истоке. Потрясающе, как это просто, подумал я. Крит – Белый остров, а дворец – тот самый

Лабиринт, повелитель которого держал Аттику в первобытном ужасе. Я вскочил на ноги. Грецин едва поспевал за мной, чертыхаясь на кошмарной дороге, где мулы вели себя как злобные старые жрицы, будто сговорившись убить нас о камни. Мы нашли старый холм, похожий на разорванную тушу быка. Поросшая травой плоть местами отпала от каменных костей. Прямо перед нами зиял развороченный бок дворца, едва запекшаяся рана, и было ясно, какая красота бурлила здесь. Вечерами в теплом воздухе поднимался дымок очагов, протяжно мычали коровы, брэнча колокольцами, шелкали бичами пастухи. Диким уютom цвел этот полынный воздух, в царстве, где править могли только женщины, щедрые телом и душой, ворожившие своим небесным супругам. Как можно было покинуть этот остров, бежать отсюда всеми неправдами? Мы хотели раскопать холм, но пришлось бы нанять полсотни рабочих, а местные жители до смерти боялись этого места, считали его проклятым. Кроме того, мы спешили – жизнь никого не ждет.

Отпустив Грецина к египетским девам, я жил на Сицилии, в Сиракузах, неподалеку от храма Удачи. Там было всего вдоволь, и мудрых бесед, и умелых подруг, но глубина религиозного чувства сиракузян превосходила все ожидания. В храме я видел статую Тихэ Каллипигэ – Удачи Прекраснозадой, она стояла спиной ко входу. Мне объяснили, что статуя построена на деньги истинных баловней Удачи, тех, кто восхищался богиней даже когда она отворачивалась от них.

«А как иначе? – говорил верховный жрец. – Все изменчиво, но каждый поворот судьбы вершит не кто-нибудь, а именно богиня. Если кого-то любишь, люби полностью. Только это любовь, а все остальное – расчет». Я отдал храму все своё-золото.

От созерцания божественного зада меня отвлек библиотекарь Помпей Макр, его поместье находилось неподалеку от Сиракуз. Помпей был священником эллинской мудрости, снабжая книгами столицу, но тем летом я решил познать Грецию такой, какая она есть. На заре мы седлали коней и отправлялись в желто-синюю, знойную как поющее дыхание пустоту. Здесь было хорошо. Душа моя встала на место, я перестал ее чувствовать, оттого что она выздоровела. Сицилия полезна тем, кто устал от выбора – это родина холодных умов и горячих сердец. Макр болтал о предстоящей зиме, но шуршала трава на холмах и пшеница, шуршали ветки олив, и крылья птиц, и галька берега, и не стоило даже пытаться отяготить себе голову, так же как выхватить взглядом груди местных набожных крестьянок, которым мы махали растопыренными пальцами, едва увидев их белесые брови на спелых круглых лицах, ставших от солнца черней их одежд. Сицилия жила той самой силой, что когда-то процветала и в наших краях, да вся вышла. Все было настолько древним... Старейшину одной из деревень весьма почитали за то, что у него было двадцать детей от двух женщин. Он жил в глинобитной лачуге, узкой и длинной, словно казарма.

– Ты ведь не персидский царь, – сказал я старику. – Зачем тебе такое множество потомков?

Я ожидал услышать в ответ что-нибудь вроде того, что боги не оставят покровительством столь плодородного человека. Но старик мыслил иначе.

– Все люди страшатся смерти. И я страшусь, – ответил он, приглаживая волосы пятерней. – Посмотри на этих девочек и парней: я в них продолжусь, ведь и они дадут потомство, и так бесконечно.

Идея бесконечного потомства показалась мне сомнительной, ведь боги охотятся на людей и днем, и ночью. Но я спросил о другом:

– Ты говоришь о своем потомстве. Но ты ведь тоже чей-то отпрыск?

Я надеялся, что старик ответит примерно так: «Да, я часть великой нити, что тянется неизвестно откуда неизвестно куда и неизвестно как долго, я звено этой вечности, что проходит через меня», и вдруг осознал суть поклонения предкам, на котором стояла домашняя жизнь моих родных. Но старик озадачился. Он не думал об этом. Он думал только о себе, и оттого так боялся исчезнуть раз и навеки. Дети были для него средством спасения. Как это подло – рожать детей только для своего успокоения!

Помпей выручил с деньгами, и в начале сентября я отправился в мечту моего детства, Элевсин. От прежней закрытости там не осталось и щеколды, и поскольку я пожертвовал храму сотню денариев, меня приняли как родного. Поначалу Элевсин разочаровал. Я ожидал увидеть благородную бедность, грубый крестьянский алтарь и такой же колодец, но едва нашел их в подобии Форума, по-римски пышном и бездарном. Вскоре я перестал обращать внимание на мелочи и погрузился в суть обряда – возвращение к свету из крошечной, безнадежной тьмы. Прошел обряд от альфы до омеги, стал актером и зрителем, ведь изначально театр был мистическим таинством; опустошив себя до дна, все своё отдав богам, актеры становились богами; природа не терпит пустоты. Дальше было что-то невероятное. Чем больше я погрузился в обряд, тем меньше в нем оставалось и Греции, и меня самого. Безумные танцы, которыми завершился праздник, были только отражением этой великой загадки, чтобы снять невыносимое напряжение сил. Я почти не пил вина, был пьян и без него, никакое вино или травы не подарят такого... Среди открытий, сделанных там, в свои неполные двадцать восемь стыдливых лет я невольно запомнил, как люди раскрывались в танце. Это было побочным эффектом, которому никто не придавал значения – мужчины и женщины, не касаясь друг друга телами, в агонии, без сладострастия, горели прохладой в глубинном экстазе, когда от ощущений остается только свет, взрываясь бесконечно, ровно, без оста-

новки, вторя голосу жреца – хум, хум, хум! – а барабаны стучали ровно, поначалу атакуя, а затем подхватив позвоночник, и только на звуке мы и держались. Когда зазвучала свирель, вкрутившись в это пекло серебристым вихрем, я подумал, что умираю, и окончательно потерял над собой власть, а дальше был только добрый пульсирующий свет, и ничего кроме света.

*

Однажды на вилле Силана возник спор о будущем эллинской культуры. Внезапно Силан заявил, что у варваров тоже есть культура. Мессала оторопел.

– Друг мой, Германия и гармония несовместимы, – сказал он.

– По крайней мере они, в Германии, живут по природе, – парировал Силан. – У них цари и в самом деле выборные, жены общие, детей они растят сообща, и каждый мужчина для ребенка является отцом, а каждая женщина – матерью. Никто не сокрушит такой народ!

– Я не уверен, что понял насчет царей, а в остальном у нас то же самое, – заметил Мессала.

Когда смех стал тише, Силан продолжил:

– Природа – это и есть гармония, а у нас понятия доблести и Фортуны несовместимы. Если урвал что-нибудь против воли богов – значит, герой. Если нам повезет, мы иску-

пим ошибки в этой жизни, а если нет – в других, раз за разом, барахтаясь как слепые щенки!

– Ты хочешь сказать, что в следующей жизни мы можем родиться псами? – ещё больше изумился Мессала.

– Человек не может воплотиться в животное, чтобы не отвечать так легко за наши-то ошибки. Но я утверждаю, что культуры нет без гармонии, гармонии – без природы, а мы перешагнули через нее. Мы слишком искусственны, несовместимо с жизнью. Только варвары могут спасти наш мир. Свежий ветер.

Вмешался Мессалин.

– Очевидно, друже, полтора года, проведенных среди всех этих даков, оставили в тебе неизгладимый отпечаток. Но, поверь, если бы ты знал их несколько лучше, то не стал бы радовать за такую культуру.

– Греки тоже считают нас варварами.

– Это ошибка греков. То они говорят, что любят нас и даже боятся, то кусают как летучие мыши.

– И ты считаешь, что любовь и боязнь могут быть совместны в одном изъявлении?

– Да. Это называется уважением.

– Тогда к чертям такое уважение!

Мессалин хмуро уставился на Силана.

– Да ты пьян, – сказал он. – Признайся, мы ведь тоже в объятиях Бахуса.

– Я трезв до такой степени, что меня начинает тошнить

от всего этого, – холодно произнес Силан.

Мессала метнул в него гусиное перо.

– Так возьми! Прочисти горло!

– Если б у меня был дар, я прочистил бы его давно! – вспыхнул Силан.

В конце концов все согласилось, что германцы тоже могут обладать некой культурой, но этот прилив терпимости был вызван скорей любовью к парадоксам да великодушием к несчастным, живущим в сумеречных областях. Я не следил за этим спором, поглощенный одним образом – подругой Силана. Ее звали Вейентелла, для друзей просто Вейя. В свои семнадцать она была вдовой.

Я давно заметил: если женщина приковала взгляд своей фигурой, то знакомство продлится не больше пары встреч, но если тебя привлекают глаза... Она о чем-то размышляла, рассеянно кроша печенье и поднося к губам фиал с вином. В ее зрачках мерцали брызги льда, зимний морской прибой. Красота бывает разной, но столь изящной работы богов я прежде не видел. Очарование Вейи раскрывалось в жестах, поворотах, искорках взгляда. Она была одета в голубой шелк, накидка отброшена легким жестом на плечи, дорогие браслеты выглядят неброско, а волосы, от природы светло-золотые, волнистые, собраны в легкомысленную прическу с мягкими рожками на макушке, как у девушки-гречанки, танцующей в поле. Больше всего меня поразило ее сходство с Коринной – девочкой, которую я не мог забыть,

как ни пытался.

Не помню, когда увидел Коринну впервые – кажется, в апреле, случайно, в толпе. Мне было двенадцать, ей столько же. Обычно дети знакомятся при обстоятельствах, которые ничего не значат ни для детей, ни тем более для взрослых. Просто голые нервы дрогнули, почуяв близость ее ресниц, ее завитка; меня швырнуло к ней, как землетрясение выбрасывает из постели. Ее зеленовато-синие глаза лишь раз, с пугливым любопытством бросили мне крошку своего сияния, когда она шла по улице, держа за руку отца, художника-грека из переулка Вертумна. Этот взгляд сбросил с меня кожу и обернул в тепло и свет. Я представлял, как ее волос касается огненное свадебное покрывало, как ведут ее навстречу, и терял себя в невыносимом ликовании. Я точно знал, что больше не встречу ни одной девушки, с которой буду счастлив. Мы прожили бы тихо, радостно и долго, и, похоронив меня, отдав последние распоряжения, она вернулась бы ко мне. Все прочее не имело никакого смысла.

Скоро мои родители поняли, что я влюблен, и поначалу только усмехались. Отец Коринны бросал на меня тяжелые взгляды, когда я подходил к ее дому, будто случайно, ожидая ее появления, тоже, конечно, случайного. Однажды в полдень ее вывел из дома отец и подтолкнул ко мне. Она плакала, уткнувшись лицом в согнутый локоть. «Ты видишь мою дочь в последний раз, – сипло сказал грек. – Пошел отсюда, сопляк, а то узнаешь моих псов, и тебе уже не понадо-

бится девушка». Секунду я стоял будто Зевсом пораженный, но этот темный долговязый карлик, ее отец, явно не походил на своего бога. Я ударил его в нос, пинком повалил на дорогу. Ничего не видел перед собой – просто бил. Выбежали его сыновья, отбросили меня. Сморкаясь, пошатываясь, грек молча убрался в дом. Коринна видела все. Какой позор...

В тот день я не смог уйти от ее порога. Сидел на корточках, спиной привалившись к тумбе у двери. После заката пришел Марк, увел меня домой. Через неделю грек бежал из Рима. Думаю, постарался мой отец.

*

В апреле, на восходе Вейи, я будто заново родился. После нашей первой встречи, разыскивая в книжных сундуках свои давние заметки, я нашел амулет Леогена. В бархатном чёрном мешочке он лежал между Гесиодом и Сафо. Я машинально одел его, и в тот же миг отказали ноги. Из-под меня точно выбили пол. Ярость и горячая тоска, державшие меня прямо в последние римские годы, исчезли. Я привалился к краю ложа и молча смотрел, как мысли распадаются на кусочки, и медленно тают, но ещё никогда я не замечал за своим разумом такой бодрости. Все исчезает, и ничто не уходит, – я не подумал это, а скорее вспомнил. Все только меняет образ, и когда одна известная форма переходит в другую, неизвестную, этот миг мы считаем смертью. Но что меняет форму?

Я вскочил на ноги, хлебнул остывшего вина и побежал к себе в башенку – там я работал, обычно стоя, пританцовывая на месте или кружась по комнате со стилем в руке. Я спешил записать тысячи пронесшихся сквозь меня картин, работал как проклятый. Иди к богам и красоте, говорило сердце, отдай себя разнообразию без цели и смысла, позволь себе. Ссоры, встречи, события – все ушло в тень «Метаморфоз». Ещё никогда не было так легко. Я сходу брал такие бастионы, о которых даже помыслить не мог последние тридцать лет, с того часа, когда задумал эту поэму и тут же утратил ее величия. Но теперь меня подхватил поток невысказанный, необъяснимый, и в ту ночь, когда Вейя кружилась в саду, я увидел каждую строчку.

У себя на вилле Силан приказал разрушить юго-западную стену, выходившую к морю. Ему постоянно не хватало воздуха из-за старой раны, в Риме даже зимой он ночевал в саду, а здесь и вовсе разошелся, открывая путь своему дыханию. Морское тепло свободно бежало навстречу, разбавленное простором, где повис ледяной шарик Луны. Силан и его подруга покоились на одном ложе, она впереди, в тени расслабленной громады его мускулов, жестов и сорванного командирского голоса. Вейя вздрагивала от смеха, как и все мы. Силан был в ударе, он рассказывал о своей жизни в Египте, Вейя вскидывала хохочущее лицо к нему, а я не знал, как вынести ее ошеломительное присутствие. Силан уговорил подругу станцевать, и она кружилась под жур-

чание флейт и вкрадчивые подсказки тимпанов, тая шелками в легком, неспешном горении ночи, и я смотрел на нее, понимая, что жизнь знать ничего не знает о правилах и законах. Жизнь всего лишь танцует и меняет маски, и вечность для нее ничто, и страсть, и вражда, и любовь.

Свежий ветерок вымыл все лишнее из головы. Последний шум скатился в море; Силан отпустил музыкантов спать. Потрескивало масло в светильниках, над головами шелестел освещенный пурпур, и уже трудно было различить статуи в аллеях, а в воздухе посверкивали искры и мошкара, стрекотали глубокие травы, и было так хорошо и полно здесь, в обнаженном сердце Италии... Что держит меня в Риме? Ведь можно упустить главное, можно всё упустить, а душа – вот она, рядом, и ничего не нужно, чтобы коснуться ее кончиками пальцев. Брут читал стихи не вставая, скорее пел, чем декламировал, покачивая тонким запястьем в такт; он вернулся из болот Германии живым, и отблески огня на его командирском браслете мешали забыть, что где-то бьются легионы, где-то ярость и кровь, но – боги мои, как всё это далеко! Так я думал, а беда уже готовила вторжение в мои итальянские ночи.

Прошло несколько пьяных, острых, ошеломительных дней, полных поэзии. Однажды после чтений, когда я показал отрывок из «Метаморфоз» (это были наброски) Мессала объявил меня повелителем пира. Среди гостей присутствовал некий Луперций Ванта, он явился позже всех. О нем го-

ворили, что он уши и глаза императора. Был он бледен, худ, горбонос, со вздернутой губой и большими сонными глазами, а в ходе беседы имел дурную привычку презрительно скидывать лицо. Уже налегли на десерт и вино, когда Ванта обратился ко мне в одурающей палатинской манере:

– Назо, я слышал – ты жил в Греции и преуспел не только на божественной службе поэзии, но также и в битвах философии, что весьма нечасто среди нынешних поэтов.

– Боюсь, это не совсем так. Я обычный книжный червь. В Греции я собирал мифы.

– Не суть, ибо нет ничего глубже мифа. Видишь ли, меня очень занимает вопрос о происхождении добра и зла. Скажи мне как ученый: когда возникло представление о том и другом?

– Когда возникло человеческое тело, – сказал я.

– То есть ты считаешь, что было время, когда не было никаких тел?

– О да. Золотое поколение. Но это было так давно, что даже Гомер его не застал, – ответил я, и вдруг меня подхватило воображение. – Впрочем, великий слепец несомненно имел четкое представление о добре и зле. Думаю, в образе троянского коня Гомер изобразил некий мировой обман, тот самый, что поражает нас через органы чувств. Ум – это единственные ворота, через которые страдание вторгается в наши сердца.

– Получается, что Одиссей, по наущению коего был создан

фальшивый конь, есть противник великого духа и воплощение лжи? – изумился Ванта. – Признаться, я в затруднении. Вероятно, мой друг, ты запомнил, что великий царь Латин приходится Одиссею родным сыном. Но даже не это меня смутило, а один вопрос: кто мы без ума? Варвары? Животные? Капуста на грядке?

Я сдержанно и как можно проще изложил свои взгляды. Ванта молчал с выражением чрезмерной задумчивости, даже скорби. Наконец он спросил:

– Не считаешь ли ты, подобно грекам, что высшим злом для человека является страдание?

– Именно так я и считаю.

– Я понял тебя. Но из твоих слов получается, что божественный Юлий, который завоевал счастье для нас, претерпевая боль и страдание, да и сонмы прочих великих мужей, принявших муки во имя народа, – все они глупцы? И, более того, демоны зла?

Я замолчал, вспоминая доводы Леогена о том, что страдание – это лекарство, однако лучше не болеть. Пока я подбирал нужные слова, Ванта уже почувствовал себя на коне.

– Не знаю как ты, Назо, а я не считаю Цезаря безумцем! – выкрикнул он.

– Величие Цезаря свято, но все прочие имена пусты, – заметил небрежно Силан. – Все, что имеет название, смертно. Одно бессмертие имеет смысл, поскольку без него нет никакого счастья.

– Постой-ка, – возразил Ванта. – Даже если мы не боимся спутать собаку с ее хозяином, ибо и тот, и другой имеют имена, прежде, чем мы отречемся от нашего принцепса, ибо он тоже не безымянный, мы будем вынуждены признать, что есть какая-то магическая сила в именах. Об этом писали многие – и Пифагор, и даже Сулла.

– Пифагор, действительно, учил мудрости, – сказал Си-лан. – Но мудрость кончается там, где начинаются его цифры.

– Цифры Пифагора? А может, ноги Фортуны?! – Ванта заржал.

– Достаточно, друзья, – запротестовал Мессала. – Эдак мы скатимся до варваров. Думаю, Си-лан имел в виду нечто иное – то, что воля человека и богов должна быть едина, как это было в веке золотом, лучшем! Разве не к тому стремимся мы? Разве мы греки, которые хотели жить отдельно, каждый в своей деревне, и потому были сломлены нашей рукой? И хоть мои предки не были этруски, я вполне согласен с их наукой, и полагаю, что на все воля богов. Ну сами подумайте: как можно перечить воле бога? – Мессала сделал паузу, чтобы мы уточнили для себя, о каком боге он ведет речь. – По-моему, герой – тот, кто проник в замысел бога и стал его волей, не рабом, но слугой, преданным и расторопным. Слугой, которому и воли-то не надо, ведь хороший слуга является частичкой господина своего. Вот к чему стремиться надо, друзья, – чтобы весь мир имел одну голову, одну во-

лю, единую с волей богов!

Ванта приподнялся и воскликнул с таким подобострастием, что меня передернуло:

– О нет! Не дорожу я сим вином, приправленным елеем! Готов я воду пить и славить имя – Цезарь! Ты слышишь, Назо, терпкий аромат, витающий со звуком – Цезарь?..

– Мирра мне нравится больше, – признался я.

– Да ты скорее Ноздри, чем Нос!⁴ – Ванта хмыкнул и громко высморкался.

Я не стал разбирать его собачье имя и особенно когномен, произошедший от нечистого демона, который высасывал у мертвых воспоминания и кровь.⁵ И без того было горячо. – Довольно, пожалуй. В конце концов, здесь не форум, – с плохо скрытой досадой повелел Мессала. – Все мы знаем, что божественный Юлий не щадил себя ради общего блага и подарил нам то, на что неспособны даже боги. А сейчас давайте послушаем нашего дорогого Луперция Ванту – он сочинил прелестную поэму о войне летучих мышей и волков.

Мне хорошо запомнилась та ночь. Когда Ванта прекратил своёрычание, разговор зашел о Юлии Старшей, единственной дочери Августа. Она дожидалась смерти на острове в ссылке, а ее любовники покончили с собой – не по собственной, конечно, инициативе. Силан пожалел Юлию. Ее

⁴ Когномен или прозвище Назо (Naso) буквально означает Нос.

⁵ Имя Луперций – от слова lupus (волк). Прозвище Ванта – от имени Vanth, этрусского демона загробного мира.

судьба была принуждением с юных лет, и когда она расцвела и нуждалась в любви, ее отдали за Тиберия, который ненавидел женщин, а Юлию особенно. Естественно, Юлия не отказывала своим фаворитам, как цветущая яблоня не отталкивает пчел. Силана говорил, что последний брак Юлии был с самого начала обречен, что это союз брошенных детей, политический инцест, – заключил он и сразу перешел к судьбе ее дочери – Юлии Младшей. Юлилла, так её звали друзья, была выдана за старого Лепида. «Я даже выразить не могу, какая это глупость! – говорил Силан. – Подумайте только – Лепид и Юлилла! Богиня и жаба!»

Такие разговоры были чистым самоубийством. Но я подумал, что Силан затеял игру в своем безоглядном стиле, что у принцепса могут быть какие-то мысли о будущем Юлиллы и Силана, совместном будущем. Эта идея выглядела не столь уж безумно. В комнате раздался смех, к Силану потянулись руки, его трепали по щеке, и пьяные аплодисменты разрядили опасения. Так мы полагали.

*

Три года назад, собираясь покинуть Ираклион, я произвёл тщательную ревизию. Все что у меня было – два старых костюма и один плащ, фиолетовая шелковая косоворотка – подарок французской подруги, толпа приятелей-поэтов и одна печальная книга, дружно отвергнутая десятком российских

издательств. Я как бы умер; кроме этих вещей не было других доказательств моего бытия. Силан тут же привел место из древних законов, согласно которым расходы на похороны должны быть ограничены тремя саванами, одной пурпуровой туникой и десятком флейтистов, а причитания запрещены.

– Ещё там сказано: пусть мертвеца не сжигают в Риме, – сказал он. – Я знаю двоих мертвецов, к которым это относится.

– В священных книгах написано, что они исчезли. Но так, что никто не знал, что они умерли, – добавил я.

– К черту книжную мудрость! – расхохотался Силан. – В жизни все наоборот.

Возразить было нечем.

Итак, знакомьтесь: Децим Юний Силан, патриций из новых. Он родился в девятнадцатом году до нашей эры⁶, в тот же мартовский день, что мой брат и я. Грецин даже объявил нас родственниками, но все мы знали, насколько тщетны узы гороскопа. «Велико богатство! Одиннадцать двенадцатых отдаешь другим!» – фыркал Мессала.

Детские годы Силана прошли в поместье на юге. Во время гражданской войны его отец поддержал не того кандидата, и хотя Август его простил, старик на всякий случай отвез детей подальше от Форума. Пустые предосторожности. Децим отметил седьмое лето, когда император даровал старо-

⁶ В оригинале: C. Sentio Saturnino, Q. Lucretio Cinna coss.

му Каю Силану звание патриция и заодно поинтересовался, где он прячет наследников прекрасного имени? В тот же год юный Децим вместе с братом и сестрой был водворен обратно в пенаты, в пышный и нескладный дом у трех Фортунов.⁷

Отец и дядя Децима часто обедали в доме Августа – он любил возиться с белобрысыми, смышлеными детьми Кая Силана в мирные часы перед ужином. Как-то раз он разбирал арифметическую задачу с юным Децимом: нужно было сосчитать уцелевшее после битвы население дакийской деревни, зная, что всего там жили десять семей по три ребенка в каждой, отцы погибли, а старики не берутся в расчет. Ребенок, подавленный такой постановкой задачи, упорствовал в понимании, и тогда Август нарочито сурово приказал охране казнить пятьдесят рабов – двадцать женщин и тридцать детей и доставить их головы к ученику, поскольку воображение не помогло его рассудку. Децим тут же выкрикнул, что казнить надо всего лишь десять женщин, а количество детей оставить прежним. «Парень далеко пойдет по тропе адвокатуры», – под общий хохот заметил принцепс. «А как выйти на тропу Августа?» – любопытствовал Децим. Август подозвал префекта охраны и негромко приказал обезглавить четыре десятка рабов. Затем шепнул Дециму на ухо: «Ты правильно сделал, что отказался от умозрительности. Все они опасны, и взрослые, и дети, и рабы, и свободные.

⁷ Район в древнем Риме, примыкавший к трем храмам Фортуны на холме Квиринале.

Но если свободного ещё можно сделать другом, то раба никогда, и остается только считать по головам». «Так пусть они будут свободны!» – выпалил Децим. «Это невозможно, – горько причмокнул Август. – Как ты станешь свободным, если не будет рабов?» «И в чем же разница между рабами Цезаря и его друзьями?» – спросил Децим. В этот миг, вдруг осознав, что Август не шутит и сейчас внесут окровавленный мешок, Децим ринулся вон и очнулся только на улице. С тех пор он ненавидел арифметику.

Познакомил нас общий друг, Мессалин. Это было в театре, и с моей стороны являло простую вежливость. Я был намного старше, но мы общались на равных. Силан был похож на моего брата. Он дерзал, а не дерзил; ничего общего с плебейской наглостью. Обыкновенно мягкий в житейских вопросах, он разгорался, когда речь заходила об идеях, и рвался напрямую, как боевой слон. Я одобрял его подношения музам, но больше восхищения он вызывал сочувствие. Было ясно, что он один из легиона забытых Фортуной талантов, которым дано познать смирение или тоску. Каждый год они проходили перед моими глазами, их было так много, что я научился распознавать их по одному стихотворению, а потом даже по взгляду. Такие люди обычно спивались, не понимая, за что им выпала такая несправедливость – существовать только половиной души. Боги свидетели: никто не виноват. Фортуна – это чистая игра.

Впрочем, Силану было чем заняться – его ждала карье-

ра в сенате. Для начала нужно было отличиться на армейской службе, и в пятнадцать лет он стал учеником знаменитого фехтовальщика и кулачного бойца Канидия Бести. Тот поставлял Риму неубиваемых бойцов. Однажды в Испании Бестию вызвали на бой вождь местного племени и его брат. Командир легиона запретил поединок, но тот все равно заколол обоих испанцев. За нарушение приказа его, конечно, погнали из армии вон, но старый Силан уважал Бестию. «Он сделает тебя настоящим воином, потом я вправлю тебе мозги и сделаю великим вождем», – так напутствовал отец своёчадо.

И чадо не жалело сил. Панкратион, фехтование, бег, борьба, – все до кровавого пота. На зиму Бестия отправлял воспитанника в дикие Альпы. Силан проводил целые дни на охоте, ночевал в снегу, и умудрялся сочинять стихи, описывая радости зимнего костра, на котором жарится мясо и греется вино. Чтобы закрепить науку, домой он возвращался в богатой одежде, на старой кляче медлительно цокая по ночным дорогам в сопровождении двух бывших гладиаторов; они следом тянулись на мулах. К услугам этой смертоносной тройцы были банды ветеранов, разорившихся крестьян, беглых рабов и прочего сброда. Затем его отправили служить в Паннонию в составе Девятого Испанского легиона. Под своё командование он получил всю конницу.

Название форта Силан не помнит, по его словам, непо-

далеку там били горячие ключи⁸. Предшественник Силана погиб; потребовалось несколько ночей, чтобы привыкнуть к его кровати.

Силану нравилось в армии. После школы Бестии лагерная жизнь казалась праздником. Скрип сапог и портупей, багряный плащ и грива на шлеме – именно таким он представлял себя в войсках. Весь его вид был последним криком армейской моды, от пошлых пузатых амуров на застёжке плаща до длинного сарматского меча, сделанного по его личному заказу. Проходя тротуарами лагеря, Силан небрежно приволакивал серебряный кончик поножей, и очень скоро ему начали подражать. Его ординарцем был шустрый парень из Неаполя, сообразительный и в то же время туповатый, как это часто бывает. Силан пытался обучить его декламации, но тот не запомнил ни строчки, зато гениально шевелил ушами и проносил для господина послания юных дев; амулеты заменяли им любовные записки.

Впрочем, обстановка не давала расслабиться. Каждую неделю в караулку приносили трупы дозорных, конница бросалась по горячим следам, но кого можно было найти в проклятых дебрях? Миновала зима; на протяжении марта в лагерь стягивались когорты из соседних гарнизонов. Эти воины и кавалерия Силана вошли в состав экспедиционного корпуса, три тысячи пехоты и двести всадников. В апрель-

⁸ Вероятно, это был Аквинк (сейчас – Буда, центральный район Будапешта).

ские ноны⁹ войска форсировали Истр¹⁰.

За рекой простёрлась пустота – ни врагов, ни друзей. Деревни брошены, проводники сбежали, купцы ничего не знали об этих землях. Поймали только одного козопаса, но тот был так испуган или туп, что не мог связать пары слов. Силан надеялся, что взбешённые даки выйдут в решительный бой, но за пару месяцев – только четыре мелкие стычки. На военном совете решили не торопиться вглубь страны. Главная задача – разведка, и туманным июньским утром кавалерия Силана двинулась в дебри Трансильвании.

Силан никогда не рассказывал об этом походе. По словам его командира, Марка Виниция, отряд попал в засаду. Тысяча даков поджидала его в заросшем глубоком овраге. Из двухсот кавалеристов уцелел один Силан. Он вернулся через неделю с застывшим, будто парализованным лицом. Медики насчитали девять ран на его теле. Кроме того, они отметили его хроническую бессонницу – он не спал совсем, и эта особенность уже никогда не покинет его. Силана оправдали и даже наградили. Войска отправились на зимние квартиры.

Силан хотел умереть. Дважды вскрывал себе вены, и дважды его спасали. По общему мнению, он не мог простить себе гибель солдат, но даже Цезарь допускал опасные ошибки, из которых и скроена воинская слава. Виниций успокаивал

⁹ 5 апреля.

¹⁰ Дунай (в верхнем течении).

вал Силана, объяснял, что даки вели его отряд от самых ворот, что погибшие спасли весь корпус. Все отнеслись к этой неудаче с пониманием, кроме старшего доктора легиона, который полагал, что Силан опасен, что он стал жертвой тёмного волшебства. Доктор предложил доставить его на суд специальной коллегии, собранной из его земляков, тарентинцев. Предложение было отвергнуто. Смешно даже подумать, чтобы коллегия провинциальных магов решала судьбу римского гражданина, который запросто ходил в гости к императору. Децим подал в отставку и, сославшись на здоровье, вернулся в Рим.

Столица поглотила его. Он избавился от лагерной привычки клясться Геркулесом, носил тоги всех мыслимых оттенков и отделок, переодеваясь по несколько раз на дню. Он отпустил кудри и дал волю остроумию, пальцы унижал перстнями, а борцовский торс укрыл под шелком драпировок, собирая складки мелко и густо, на лидийский манер. Утром он выливал на себя ведро ледяной воды и, облачившись, отправлялся по делам. После завтрака шёл на Форум, чтобы узнать новости и при случае подраться за какого-нибудь кандидата. Затем с толпой друзей отправлялся обедать, чаще всего прямиком в бани. Иногда устраивал прогулки на Аппиевой дороге. Его экипажи, подобранные с ненавязчивой тщательностью, никогда не оставались без напوماженных завитых спутниц. Бывало, что в кольце друзей-актёров он вваливался в модные салоны и платил за всех, или звереющий

поток уносил его на игры, и вечером, в толпе, он врвался в публичные дома, которыми кишел район Цирка. Слуги приносили его домой мертвецки пьяного, покрытого ссадинами, залитого вином. Но – «Да здравствует Силан! Идущие напиться приветствуют тебя!» – кричали поутру актёры, и всё начиналось по новой. Он был душой компании, несмотря на то, что ходить на вечеринки с его участием было рискованно. Вокруг него всегда кипели свары. В лучшем случае спорщики напивались до изнеможения, чаще дрались до смерти, но рядом с Силаном я чувствовал восхитительную ярость.

Внезапно Силан отправился в Египет. В общине при храме Амона он выбрил себе голову, надел рубище. В тесной келье, куда его отвели, можно было только сидеть – на соломенной циновке поверх квадратного камня, и лежать, опершись ногами в стену. Чтобы с непривычки не затекали ноги, разрешено было стоять и прыгать на месте. Неделю он провёл взаперти. Хотя дверь заменял тростниковый полог, старшие монахи никого не выпускали во двор. Питался только водой из колодца, к которому прибегал ночью тайком, чтобы не попасть под удары палками. Утром десятого дня он схватил старшего монаха и, прокусив ему шею, высосал кровь. Уже в Александрии, спешно купив корабль для бегства, он узнал, что монах скончался.

В Городе он стал домоседом. Построил усадьбу на Авентине – там окончательно вырезали бандитов, которые почти

сто лет контролировали тибрские доки, и в район потянулись богатые люди.

В доме Силана не было скучно. Слуги – сплошной паноптикум. Чего стоил один эконом, единственный раб в его обширном доме, знаток пословиц и мудрейших изречений. Назначив этого знатока судьей среди слуг, он ожидал от него чуда терпимости, но просчитался. «Каждого человека можно заподозрить в чем угодно», – повторял теперь эконом. Своих подчиненных он держал на коротком поводке, не хуже принцепса. Силан подарил его мне, когда управляющий на вилле жены в Сегесте пожелал удалиться к себе на родину, в Галлию. Несомненно, эконом сошел с ума. Я не дал ему свободу только потому, что на привязи он был безопасен.

*

Последний год в Риме начался с того, что старого Камилла избрали в консулы. Его дочь была моей второй женой. Высокая, мне по плечи, тонкогубая, с большими бёдрами и крохотной грудью, она гордо несла своё измождённое лицо, отвлекающее внимание от ее сочной плоти, делиться которой она не хотела ни с кем. Наше семейное благополучие скоро стало формальностью – ни тепла, ни любви, ни интимности. Все её слова были речениями древних героинь, а единственной слабостью – пошлая привычка предаваться воспо-

минаниям о своих предках. Обстановка унижительной бедности, в которой выросла Камилла (её славный род катился в долговую яму), подняла с её души всю гниль аристократов: крайнее бездушие, извращённую гордость. Жизнь Камиллы от начала до конца была обрядом, точной иллюстрацией детских воспитательных легенд. Впрочем, когда моё отвращение к ней стало неприлично искренним, пафосу героинь она предпочла банальную подлость – убила нашего нерождённого мальчика. После развода она вышла замуж за армейского интенданта, но старый Камилл ничего никому не прощал.

Как-то раз в начале мая, в первый день праздника Доброй богини, когда старухи очищали Город от присутствия мужчин, собрались у меня в Садах на этрусском ужине. Было всего двенадцать человек, только самые близкие друзья с женами или их заместительницами. Силан и Вейя были героями вечера. Нас ожидал сюрприз – маленькое представление по мотивам одного эпизода из Вергилия. В комнату влетели двенадцать голубей, и Силан предложил погадать по их полёту. Вейя руководила прорицаниями. Она торжественно двигалась по кругу, декламируя напыщенные, доведённые до полного идиотизма пророчества. Котта подавился фигой, Помпей рыдал в подушки, жена Грецина лупила его по спине, пока сама не задохнулась от хохота, и только Силан держался сообразно церемониалу, с дурацкой надменностью вскинув бровь. Всё было нашей заготовкой – и голубой навес, разделённый на шестнадцать секторов, по кото-

рым гадали жрецы, и узелки с подарками для гостей, привязанные к лапам птиц. Вечер мог завершиться отменно, если бы не одна блуждающая метафора. Задетый успехом подруги, отдавшейся танцу со всею страстью, Силан, уже изрядно пьяный, назвал ее бурной богиней и сопровождал замечание такими жестами, что всем стало неловко. Вейя побледнела, швырнула в него жреческий посох и выбежала вон. Я бросился следом. На полу в атрии лежал ее изумрудный браслет.

Рано поутру я навестил Силана. Задумчивый с похмелья, он сообщил, что у него с Вейей, должно быть, всё кончено. Я отправился к ней. По словам привратника, ещё до рассвета она отбыла на Фуцинское озеро к своей госпоже, Юлии Младшей. Её экипаж состоял из носилок, так что уйти далеко она не успела. Я вернулся домой, запряг коней и со слугой помчался на Тибуртинскую дорогу.

Мы стегали встречную толпу, спешившую на праздник, давили копытами торговок, но продвинулись чуть. Наконец вышли на простор и погнали галопом, и если бы я сломал себе шею, это стоило бы того: любовь в семнадцать лет – это вопрос жизни и смерти, но когда вам пятьдесят, то это больше, чем жизнь и смерть. Мы ворвались в Тибур, пролетели его насквозь, и тут я понял, что поиски тщетны. Вернулся в Рим, через толпу пробился к дому Вейи, но привратника, конечно, не застал. Её слуги были напуганы. Я стоял перед ними грязный, мокрый с ног до головы, вся улица уже судачит

обо мне, а завтра будет говорить весь Город, но поздно отступать. Я сбил на пол загородившего путь конюха, ворвался в дом и работая плетью пробился в кухню, где под медным чаном схоронился управляющий. Он признался: госпожа направилась на берег Аверна, где недавно купила себе дом, и велела передать мужчине, который явится утром, что уехала к Юлии Младшей. Видимо, она ждала Силана.

И снова в путь – сменили коней, поскакали на юг. Аппиева дорога бурлила даже на обочинах. От грохота, ржания и криков закладывало уши. Не доезжая Бовилл, я наткнулся на Помпея Макра. Он стоял в тени деревьев, окруженный своими людьми. Помпей бегло поздоровался и, стараясь не глядеть мне в глаза, рассказал, что рано утром на Вейю напали, ранили, слуг зарезали. Бандиты попытались убежать, но не смогли – Помпей в тот самый час направлялся в поместье с женой и охраной. Грабителей догнали и связали, а Вейю нужно доставить к врачам.

Носилки стояли поодаль, в паре шагов. Я опустился на колени, откинул полог. Вейя спала. Её голову обложили мешочками со льдом, и в этой свежести она была такой далёкой. Кончиками пальцев я видел, как неровно ручеек надежды струится из её темени, и тонкие брови, немного вздернутые у переносицы, звали прикоснуться к ней, и всё отдать и больше ни о чем не думать, ведь всё уже передумано, а я как прежде одинок. Я провел щекой по её коже. Моя слеза оставила короткий темный след, будто кровь раздавленного

скорпиона, и какие-то силы проходили сквозь меня, захватывали дух, бессчётные, и я уже не удивлялся их приливам, а лишь отдавал, отдавал, отдавал.

*

Рана Вейи быстро зажила. Через месяц мы уже смотрели комедию Силана «Потерпевший кораблекрушение». Содержание: рыбацкая лодка терпит катастрофу за Геракловыми столбами, единственный выживший попадает на остров, населённый благородными красивыми людьми. Там лето круглый год и не надо пахать, а бог и закон едины и имя им Любовь. Царица принимает пахаря ко двору и выдает за него красавицу-дочь, но крестьянин отчаянно тоскует по своей пьяной деревушке, где все живут как свиньи и до смерти дерутся за каждый грош. «Мы знаем жизнь, не то, что вы», заявляет он в финальной сцене на пиру, и, выбежав во двор, горстями жрет навоз, запрыгивает на плот и устремляется навстречу родным берегам.

Силан поставил комедию у себя на вилле в Синуэссе. Он выписал из Рима актеров и певцов, но главную роль оставил себе. Зрителей было немного: Вейя, Котта, я, Помпей и наши общие друзья, знатоки литературы Юлий Гигин и Ортензий Мозес. Повар испёк пирожные в виде навоза, один шарик я оставил себе и довел до истерики тещу, съев реквизит за столом и заметив: «Цезарь, конечно, прав – мы должны

вернуться к здоровым и простым обедам наших предков».

Мы ехали в Город вместе, Вейентелла и я. Счастливые часы в носилках, где все было вскользь – и разговоры, и хрупкие, обжигающие горло намеки, и касания рукавами, и тепло бедра. Прощаясь, она не ответила на мой вопрос и только пожала руку, поцеловала и с лукавой улыбкой передала свиток. «За ответом я приду завтра», – сказала она. Как только Вейя ушла, я развернул папирус. Это было письмо от Юлии Младшей, любимой внучки Августа. Мы не были представлены. Я знал её лишь потому, что Вейя была её подругой, а Силан – любовником. Но, считая меня большим знатоком вопроса, она правильным почерком изложила свои чувства в духе моих «Героинь», не поленившись перечислить свои постельные приключения. От её стихов у меня чесались зубы. Мифологические имена ничего не скрывали. В конце она добавила, что «в столице наслаждений» живет «певец сердечной тайны» (!), и не могла бы она, скромная супруга Вулкана, прийти к Орфею, чтобы наедине обсудить его последний подвиг – акт любви с тысячей вакханок?

Эта пошлая история отличалась от десятка подобных только именем героини. Я ни разу не нарушил супружескую клятву, но римских дурочек возбуждала мысль, что ночами я бегаю по окрестным полям и орошаю семенем пашни. Единственным, что не раздражало в этом письме, была тема Орфея. Акт любви с тысячей вакханок! Это было бы слишком сильно даже для Геркулеса, не то что для простого фракий-

ского пастуха, которым был Орфей. Но такой финал истории всегда казался мне удачным; я изменил его в «Метаморфозах» только ради бедняги Альбинована, который свихнулся на старости лет и тайно женился на гладиаторе.

Однако нужно было отвечать, и я сочинил вежливый отказ от лица Гермеса – дескать, Орфей чинит кифару, разорённую вакханками, и как только струны вновь задрожат в наплыве вдохновения, он тотчас явится ко двору самой обольстительной из богинь.

Вскоре Силан заметил подозрительных типов, слонявшихся у моего дома. «Это воры, – сказал Силан. – Изучают распорядок дня в твоём доме». Мы вышли на улицу через кухню. Мрела послеполуденная жара. Шли чёрные рабы с носилками, тянулись мулы, громыхали повозки. Рыжий детина сидел на краю тротуара и беседовал с торговкой овощами, гогоча на всю дорогу. Возле цветочной лавки стоял непримечательный господин, подпоясанный дорогим ремнем. Мы встретили его недобрый взгляд. После заката Силан прислал своего человека, и тот организовал оборону лучше, чем троянцы.

Следующей ночью я возвращался домой с Авентина верхом. Меня сопровождал офицер-ветеран, начальник моей охраны. Возле храма Геркулеса Победителя он обратил моё внимание на то, что следом крадётся мужчина, не упуская нас из виду от самого Цирка. Я кивнул, телохранитель резко развернул коня и крупом сбил незнакомца на землю. Рыжий

бродяга, по виду бывший солдат, затараторил, что ему скоро сворачивать, зовут его Алексис Голодный, кругом тьма хоть глаз выколи, а у нас лампада, да сохраняют нас боги. Я прижал его к стене и обыскал. Под мышкой у него был подвешен короткий меч без ножен. «Зачем это тебе? Собак отгонять?» – спросил я, но отпустил мерзавца. Когда он убрался прочь, мой центурион уверенно и тихо заметил:

– Он хотел убить тебя, хозяин.

Ночь была испорчена. Кому я перешел дорогу? Я, самый тихий человек в этом бешеном логове? Будь то грабитель, он получил бы отпор, будь то жертва сплетен обо мне, мы могли бы все уладить, однако сердце говорило, что мне уготовано что-то серьезное.

*

Летом я повздорил с женой. Причиной стала наша дочь – она ушла от своего мужа, издателя Квинта Лоренция Ларса. «Любви больше нет», сказала она. Вот оно, нежное греческое воспитание! Теперь она выскочила за молодого адвоката и он увёз её в Ливию, к малярии и гнилой воде. Меж тем супруга моя была без ума от нового зятя, его улыбок и раздвоенного подбородка, и я догадывался, кто первым благословил этот безумный брак.

Вейя отправилась в поместье к своей госпоже, обещав вернуться не позднее октября. Я соблюдал дистанцию.

Не знаю, поймет ли меня современный читатель, но доверие жены для меня значило много больше собственного счастья, так мы были воспитаны. Я заперся на вилле, надеясь утопить печаль в «Метаморфозах», но работалось трудно. Всего-то нужно было – связать воедино четыре главы, именно это и не удавалось. Глаза нестерпимо болели, поэма бесила меня. Город по-скотски будет измываться над ней. Кому нужны эти превращения? Я не Вергилий, в моей работе не было расчёта. Это не миф о величии наших истоков, я не дал Риму повода возгордиться собой, избегая этой темы сознательно, не без влияния Мессалы, который заметил как-то раз на похоронах Вергилия: «Бедняге повезло, ушёл вовремя. Если ты, Назо, пойдёшь по его стопам, имей в виду: рано или поздно воспетый тобой народ решит, что для него ты недостаточно великий».

В общем, я забросил поэму. С зарёй отправлялся на реку, рыбачил, потом плавал; всё во мне мертвело, если рядом не было воды. Глаза очень устали. Берег удалялся от меня всё дальше с каждым утром, но хотелось верить, что болезнь пройдёт сама собой. Котта подарил саженцы на редкость ароматной сирени, и я возился в саду, насколько позволяло зрение, то и дело задумываясь о том, чем заняться по весне. Силан приглашал на Крит, зная мою страсть к рыбалке и наблюдением за повадками птиц. Запах Тибра успокаивал нервы. Шуршали фонтаны, влажной зеленью играл Садовый холм, и однажды я подумал, что пора начинать дру-

гую поэму, совершенно другую, сумрачную, глубокую, настоящую, и совершить первый рывок от земли мне поможет чудесная серебряная булла¹¹, подарок Леогена. Я уже решил послать за ней в город, когда в ворота поместья на сверкающем буланом жеребце влетел Силан.

Мы не виделись пару месяцев – он лечился от бессонницы на Крите и выглядел заметно посвежевшим. После обеда, за бокалом вина в беседке, он задал вопрос: как бы я отнесся к волшебному, неожиданному подарку? «Насколько волшебному?» – спросил я. Он рассмеялся: «Душа тебя погубит. Я бы спросил, насколько неожиданному». Я не стал ломать себе голову, никто не приезжал в гости без подарков.

В полночь закурили кальян. Говорили о «Метаморфозах».

– Понимаю, чем тебя привлекла тема преобразования, – сказал Силан. – Этот город было бы неплохо обновить, очистить от прошлого. Матушка говорила, Рем и Ромул были полуволки, полулюди. Действительно – кого ещё могла вскормить волчица?.. Хороши предки, а? Кстати, двое оборотней напросились к нам на ужин.

Пока я раздумывал, что бы это значило, Силан хлопнул в ладоши. Из-за полога, разделявшего столовую и сад, вышли две укутанные в мех высокие женщины, блондинка и брюнетка с распущенными волосами, лица скрыты волчьими

¹¹ Булла – полый металлический футляр круглой формы, обычно плоский, оберег от злых чар. Его носили на груди дети полноправных граждан (до совершеннолетия) и триумфаторы. В широком смысле – амулет.

ми масками. В полутьме, под шелканье кастаньет, они начали старый персидский танец, замысловатый, бешеный. Легко вращая бедрами, кружась, переплетаясь, они растеряли меха. Одна из них, белокурая, была вызывающе прекрасна, с фигурой влюбленной девушки, у другой – стройное материнское тело, тело-колыбель. В мерцающей глубине дома крадчиво ударили в тимпаны. Я знал, что существует магический ритм, которым персы в тайных ритуалах доводят себя до полного исступления, но слышал его впервые. Всё потерялось в этом биении тьмы. Дышать я почти не мог, сердце перекрыло горло, воздух был уже раскаленным, и наблюдать и не слиться с ними казалось невозможно. Через несколько долгих минут они двинулись к нам. Одну подхватил на руки умирающий от нетерпения Силан, другая, с золотистыми волнами, раздвоенными будто крылья, дернула за шнур и скрыла их пологом, взошла на стол и на четвереньках направилась ко мне, свергая на пол кубки и вазы с фруктами. Я подхватил ее тело и бросил на ложе, её ноги взлетели мне на плечи. Все мои чувства хлынули вниз, в камеру сладостных пыток. Тимпаны стучали гулко и часто, будто копыта потусторонних коней, и когда она выгнула грудь и откинула кудри со лба в победном стоне, маска упала с её лица.

Вейя. Удар горячего ветра, нега морского дна... Как я мог не узнать тебя? Тело не способно вынести настоящее чувство, оно лишь наблюдало, как моя душа сорвалась с высоты и, упав в её сердце, разбилась на тысячу осколков. Потом мы

лежали, едва касаясь губами пустоты. Не знаю, сколько это длилось; жизнь равнодушна ко времени. Я коснулся завитка, обернувшего её ушко. «Мне пора», – сказал её взгляд, но я не смог отпустить её, даже когда стрела ее позвоночника исчезла за границей света.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.